

## ВВЕДЕНИЕ

На протяжении столетий Россия претерпела немало драматических перемен, но никогда, ни в период Московского царства, ни в Петербургский период, не нарушался принцип самодержавия, а если это и случалось, то на такое непродолжительное время, что говорить о революции просто неуместно. Даже в начале XVII века, во время династического кризиса Смутного времени, самодержавие не только сохранилось, но и упрочилось, опираясь на традиционный представительный институт — Земский собор. Не поколебал принципа самодержавия и ряд бурных дворцовых переворотов XVII и XVIII веков. В результате той или иной случайности престолонаследования власть могла оказаться в слабых руках, но тогда политический кризис разрешался единоборством соперничающих сил, точкой приложения которых и был самодержец. Если же разум и воля монарха были достаточно сильны, он — или она, как в случае Екатерины Великой, — создавал такой порядок правления, который соответствовал его собственным идеям и предпочтениям. Государственная инициатива или оппозиция не имели других способов выражения, кроме смиренных прошений и — бунта.

Восстания, которые действительно не раз вспыхивали, можно свести к двум совершенно отличным друг от друга типам. Первый тип — мятеж привилегированных слоев, близких к престолу, ради установления новых или сохранения старых привилегий, если им угрожала политика монарха. Тут речь могла идти о борьбе соперничающих кланов, как, например, при несовершеннолетних Иоанне IV и Петре I. К этому же типу относятся дворцовые перевороты XVIII века или утопленный в крови стрельцкий бунт в начале царствования Петра Великого. Все эти события сосредотачивались в столице и большей частью ограничивались ею, а то и только Дворцом. И каковы бы ни были их непосредственные результаты, за ними сразу же следовало восстановление status quo: управление государством оставалось исключительной прерогативой монарха.

Что касается восстаний второго типа, то тут о защите привилегий говорить не приходится, потому что их зачинщиками были люди, которые ради казацкой воли давно отказались от той малости, которую могло дать им государство. В XVII и XVIII веках они не раз бунтовали центральные области, склоняя сродные им социальные элементы разрушить существующий порядок. Их набеги превращались в серьезную угрозу, если водительство брали на себя такие одаренные и решительные люди, как Разин, Болотников или Пугачев. Успех любого из них несомненно мог превратить бунт в то, что достойно названия революции. Но они зарождались на окраинах, и хотя множество

недовольных пополняло подобно снежному кому растущее наступление на столицу, верх всегда одерживала организованная власть. Однако основная причина поражения заключалась не в государстве, а в населении. Население в общем предпочитало жить помаленьку под опекой «царя-батюшки», нежели подчиниться неверной управе бандитов.

К началу XIX века появился новый фактор, который, после ряда неудачных попыток, дал возможность связать мятежные порывы знати с бунтом неимущих: началось пробуждение общественного сознания в высших классах. Первым, чутким вестником стала знаменитая книга Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», появившаяся в 1790 году и тогда же запрещенная. С этого момента политическая оппозиция высших классов определялась уже не только их собственными интересами, но и тем, что они считали интересами народа. Глубину совершившегося переворота показывает сравнение двух заговоров: того, который в 1801 году привел к убийству Павла I, и того, который разрешился восстанием декабристов в 1825-ом. С одной стороны — политические интриги гвардейских офицеров, у которых Павел хотел отнять привилегии, данные Екатериной. С другой — доходящая до самоуничтожения идея служения народу.

Отсюда берет начало трагическое стремление связать радикализм высших классов и революционеров с потенциально неограниченной взрывчатой силой народного недовольства, которой они готовы были руководить и из которой надеялись черпать революционную мощь. Это стремление — главная тема истории русского революционного движения XIX века. Русские фурьеристы, народники и их крайнее крыло, террористы, фантастический революционер-аристократ Бакунин, все хотели добиться взаимопонимания с теми, чьи насущные материальные нужды должна была удовлетворить революция. Однако взаимопонимания добиться было трудно, и это стало одной из главных причин неудачи революционного движения в России XIX века, несмотря на обилие крестьянских и солдатских бунтов. Государство сумело не дать им разрастись до размеров пугачевщины. Кроме того, эти стихийные протесты были далеки от идеологии и организаций революционной интеллигенции, которая состояла как из представителей высших классов, посвятивших себя революции, так и из разночинцев, с помощью образования и государственной службы достигших такого положения в обществе, при котором их политические устремления скорее можно объяснить приверженностью идее, нежели материальными интересами. Революция как бы ждала «Пугачева с университетским образованием», но, когда «Пугачевы» получали университетское образование, оно либо умеряло их пыл, либо отдаляло от низменных

побуждений темного народа, который рассчитывал облегчить свою долю, а о мировой справедливости не заботился.

И вот, когда революция началась, возглавил ее не народный вождь, а выходец из мелкого дворянства, который, исповедуя революционную идеологию марксистского толка, умел использовать скрытые страсти народного восстания, но совершенно их при этом не разделял. Однако к этому моменту связь между обоими полюсами революционного движения, т. е. между идеологами и недовольными массами, была прочно установлена. Реальным соединительным звеном оказались «сознательные» промышленные рабочие, имевшие определенную техническую подготовку нижние чины армии и флота и интеллигенция национальных меньшинств, в особенности еврейского и грузинского.

Размах этих связей впервые выявился во время революции 1905 года. Петербургский Совет рабочих депутатов, во главе которого стояли адвокат Хрусталева-Носарь и интеллигент Троцкий, сумел создать нечто вроде революционной администрации, которая в течение некоторого времени соперничала с правительственной бюрократией. Эта же связь наблюдалась и в других центрах революционного движения 1905 года. Например, восстанием на крейсере «Очаков» руководил восторженный молодой флотский офицер лейтенант Шмидт. В это время революционная интеллигенция впервые показала, что способна разжечь и направить народный гнев и агрессивность, а массы, со своей стороны, стали искать руководителей в среде революционной интеллигенции и усмотрели в революционной идеологии выражение своих собственных невыраженных социальных и экономических требований. Впервые также восстания в губерниях были до некоторой степени координированы с событиями в столице, и железнодорожные забастовки, нарушившие установленный в стране порядок, содействовали дальнейшему укреплению единства революционных сил. Сплоченность двух элементов революционного движения сделала конечную цель социальной революции практически достигаемой.

Чуткому наблюдателю российских событий 1905 года впервые представилась чрезвычайная хрупкость существующей системы. Русская литература, особенно поэзия, всегда первая отражала настроения в стране, реагировала на события, высказывая смутные эсхатологические предчувствия и создавая символы революционного мышления.

Урон, нанесенный самодержавию в эти революционные месяцы, был настолько велик, напряженное ожидание настолько овладело обществом, что приходится удивляться тому, как быстро восстановилась нормальная жизнь; еще удивительнее спад

революционной волны в последующее десятилетие. Фактически революция вытеснялась оживлением либеральной традиции, которая до этого момента совсем, или почти совсем, не играла никакой роли в злободневных конфликтах.

Если пробуждение общественного сознания в высших классах одних заставило стремиться к союзу с народным протестом, то другие предпочитали реформы в рамках существующего строя. Либеральная традиция, достигшая апогея в реформах 1861–1864 гг., сказывалась и в деятельности высшей бюрократии, личных советников государей, и в деятельности интеллигенции. Как правило, либеральная интеллигенция избегала государственной службы, и это само по себе вызывало недовольство властей и преследование интеллигенции в целом как «пособницы революции». Истинная картина развития политической мысли в России XIX–XX века до сих пор часто искажается в силу того факта, что либеральные тенденции одинаково наличествовали как в среде высшей бюрократии, так и в интеллигентской среде, хотя традиционно они считаются враждебными. Тех либеральных деятелей, которые не служили непосредственно правительству, в качестве «интеллигентов» относили к радикалам, и ошибочно считали, что они, находясь на разных уровнях политического радикализма, так или иначе склоняются в сторону революции. В то же время, отдельные попытки правительства провести те или иные социально-прогрессивные меры а priori считались реакционными и ретроградными. Потребовался тонкий анализ такого историка и юриста, как В. Леонтович<sup>1</sup>, чтобы показать, что либеральные тенденции необходимо вызревали в недрах самой русской государственности. Леонтович провел четкую грань между «либеральным» и «радикальным».

Размах и успехи революционного движения 1905 года скорее стимулировали развитие либеральных, а не революционных сил России. Конституция, неохотно данная царем в 1905 году, узаконила некоторые виды партийной деятельности. Кроме того, буря революционных событий вызвала у либералов опасения и заставила их с большим вниманием отнестись к тому, что разнило их от революционных радикалов. Отражением этого нового направления стал идеологический манифест, выпущенный рядом выдающихся представителей интеллигенции, которые ранее были тесно связаны с революцией<sup>2</sup>. Хотя никакого сближения между этими либеральными интеллигентами и государственной властью не произошло, опасность, выявившаяся в ходе событий 1905 года, придала силу — даже в глазах твердокаменных сторонников самодержавия — либеральным аргументам. Правительство признало необходимость внимательнее разобраться в проблемах развития общества. Так как революционеры-интеллигенты сумели установить контакт с силами общественного раскола, либералы,

и даже консерваторы, стали в свою очередь искать поддержки масс в борьбе против революционного движения. Эти тенденции объясняют ряд отличительных черт русской политической жизни начала века. На самом низшем уровне — только что осознанная потребность в народной поддержке заставила правительство организовать «реакцию снизу» в виде так называемых патриотических союзов, подобных Союзу русского народа, и их террористических отрошков («черные сотни»). На несколько более высоком уровне — надежда на то, что крестьянство поддержит существующий режим в силу исконной преданности царю, заставила правительство распространить на крестьян право участия в выборах. Однако, это право было урезано, после того как выборы в Первую и Вторую Думу не оправдали ожиданий правительства. Наконец на высшем уровне — на уровне государственного планирования — необходимость опереться на широкую поддержку народа привела к реформе, связанной с именем Столыпина.

Огромная масса русских крестьян, обрабатывавших землю, предоставленную им миром и принадлежавшую миру, должна была наконец стать наследственным собственником рентабельных хозяйств. Эта реформа вызвала оппозицию как правых, так и левых, причем последние оплакивали исчезновение средневековой русской земельной общины, считая это ударом по так называемому коренному русскому типу социализма.

Столыпинская крестьянская реформа совпала с ускоренным экономическим и промышленным ростом, носившим все признаки первоначальных стадий промышленной революции. И вышло так, что это совпадение создало условия, мало благоприятные для дальнейшего развития революционной активности. Оставшиеся очаги революции легче контролировались полицией. В случаях открытых эксцессов Столыпин и его сторонники не колеблясь прибегали к суровым репрессиям. В среде правых социал-демократов обнаружилась тенденция отказаться от революционных методов, с тем чтобы сосредоточиться на организации профсоюзов, пропаганде и работе по просвещению масс. Одновременно социал-демократы вели нажим на правительство через своих представителей в Думе. Партия социалистов-революционеров не отказывалась от своей террористической деятельности до разоблачения в 1908 году двойного агента Азефа. Однако терроризм истощил организационное единство партии и отдалил ее от масс, которые никогда не могли понять цели политического террора. Что касается большевистского крыла русской социал-демократической партии, — главные лидеры находились в эмиграции, — то многие из их сторонников среди рабочих перешли к «ликвидаторам» (меньшевики

правого крыла и подобные группы). Кроме того, большевики были дискредитированы в глазах других революционеров причастностью к ограблениям банков (так называемым «экспроприациям»). В Четвертой Думе их представителями руководил — и предал их — полицейский агент Роман Малиновский.

Таким образом, в десятилетие 1905-го — 1915-го годов, о котором, к сожалению, мало сообщают историки, даже обостренные общественные искания интеллигенции находили себе выражение помимо революционных действий. В то же время, глухое недовольство низших классов, не имевшее естественной отдушины в XIX столетии, стало менее напряженным вследствие увеличившейся социальной мобильности и новых надежд на улучшение положения крестьян и промышленных рабочих.

Ленин в начале войны прекрасно сознавал потерю революционного импульса, хотя это его не обескураживало. Но ни тяготы войны, ни очевидность разрухи, бунта и недовольства, неизбежно сопутствующих войне, не могли убедить Ленина в том, что в России назревает революция. В лекции, прочитанной им в Цюрихе в январе 1917 года, он сказал, что революция, очевидно, произойдет, когда никого из его сверстников уже не будет в живых. Это заявление, а также реакция Ленина на первые сообщения о революции в марте, доказывают, что и начало революции, и ее размах были для него полной неожиданностью.

Но события в Петрограде в феврале 1917 года застали врасплох не одного только Ленина. Один из видных участников<sup>3</sup> событий писал через пять лет:

Революция застала нас, тогдашних партийных людей, как евангельских неразумных дев, спящими. Теперь, через пять лет, непонятным кажется, как можно было в нарастании февральской волны не почувствовать (не говорю уже «осознать») надвигавшейся бури; ведь к этим дням многие из нас готовились годами — долгими годами царского подполья, напряженной, жадной, верящей мыслью... И когда пришла наконец она — долгожданная, желанная, — некуда было идти.

Та же неспособность охватить умом происходящее проявлялась и в официальных кругах. Официальный придворный историк генерал Дубенский, приехавший с царем в Могилев из Царского Села, писал 24 февраля:

Тихая жизнь началась здесь. Все будет по-старому. От Него (от царя) ничего не будет. Могут быть только случайные, внешние причины, кои заставят что-либо измениться... В Петрограде были голодные беспорядки, рабочие патронного

завода вышли на Литейный и двинулись к Невскому, но были разогнаны казаками<sup>4</sup>.

Мемуаристы, вспоминая об этом времени, в один голос признают, что только тогда, когда революция была уже в полном разгаре, они поняли: началось. Возможно, наиболее адекватно оценивали перспективу событий чины охранного отделения: в феврале начальник петроградского охранного отделения, генерал Глобачев, неоднократно доносил, что в столице назревают крупные беспорядки. Однако, по его мнению, недовольство грозило вылиться в про-монархический еврейский погром или в избиение немцев, а не в социальную революцию.

Революция оказалась неожиданностью еще и потому, что нигде в огромной империи, помимо столиц, не было крупных беспорядков. Как мы увидим, положение на фронте тоже казалось довольно устойчивым и, в противоположность тревожным дням отступления 1915 года, не колебало уверенности военных. В столицах нервное напряжение росло, но главным образом среди читающей газеты публики, т. е. небольшой части населения; увеличивалось также беспокойство в промышленности, обострившееся вследствие грубой расправы полиции с рабочими представителями военно-промышленных комитетов<sup>5</sup>. Но ничто, по-видимому, не указывало на то, что брожение, начавшееся в нервной и переменчивой обстановке столиц, распространится на другие части страны, и еще менее того — на армию<sup>6</sup>. Однако именно это и произошло, и реакция страны на февральские события в Петрограде не могла быть более единой даже в том случае, если бы им предшествовала общая репетиция. Это единое, полное отсутствие противодействия, бездумное приятие перемен, которых несколько дней назад никто не мог и предвидеть, казалось современникам чудом и дало революции не вполне заслуженное название «Великой Бескровной Русской Революции». Это единое длилось недолго.

---

<sup>1</sup> V. Leontovitsch. *Geschichte des Liberalismus in Russland*. Frankfurt-am-Main, 1955. Русский перевод: В.В. Леонтович. *История либерализма в России*. Серия ИИРИ, I. УМСА-Press, 1980.

<sup>2</sup> Вехи. Сборник статей. М., 1909. См. статью Леонарда Шапиро в «*Slavonic and East European Review*», 1955.

<sup>3</sup> С. Мстиславский-Масловский. *Пять Дней. Начало и конец Февральской революции*. 2-е изд., Берлин-Москва, 1922. Мстиславский был член партии эсеров, принимал участие в уличных боях в 1905 году и составил руководство по ведению уличного боя. Во время войны

работал в библиотеке Академии Генерального штаба в Петрограде. В февральские дни стал членом военной комиссии Исполнительного Комитета Петроградского Совета.

<sup>4</sup> Цитируется А. Блоком. Последние дни старого режима. Архив русской революции (далее — АРР), IV, Берлин, (1921–1937), стр. 27.

<sup>5</sup> См. ниже, гл. 9, §7.

<sup>6</sup> За исключением балтийского флота, где политическая напряженность ощущалась еще до начала революции.